

Павел Селуков

КАК Я БЫЛ
АННОЙ

18+

ФИНАЛИСТ ПРЕМИИ
«БОЛЬШАЯ КНИГА»

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Павел Владимирович Селуков
Как я был Анной
Серия «Роман поколения»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63472758

Как я был Анной: АСТ; Москва; 2021

ISBN 978-5-17-134285-2

Аннотация

Пишет прозу и сценарии. Сборник «Добыть Тарковского» вошёл в короткий список премии «БОЛЬШАЯ КНИГА».

«Как я был Анной» – книга рассказов, которые можно окрестить абсурдными, фантастическими, сатирическими или даже обозвать загадочным словом «притчи». Пацанско-маргинальная тема здесь не становится ведущей. Герои Селукова выросли, добыли своих Тарковских, после чего вдруг обнаружили, что это не конец путешествия, а только его начало.

Содержание

Мальчик	5
Эмигрант из Беднолэнда	10
Святая троица	21
Швеллера	33
В Архангельск к девочке-собаке	43
Игра в куклы	57
Усыпить Банди	70
Конец ознакомительного фрагмента.	74

Павел Селуков

Как я был Анной

© Селуков П. В., 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2020

Мальчик

Жил в одном селе мальчик с внимательными глазами. Он видел ими красоту и уродство, как люди видят цвета, если б цвета что-то означали, если б цвета могли шокировать или окрылять. Мальчик часто ходил в лес, где лежал щекой на мхе, и трогал кору, и смотрел в небо, где синь сменяли облака, а облака – звёзды. Полежав так, мальчик возвращался в село, где хлюпала грязь, бурели избы и сортиры, а отец мазутными руками чинил уазик, чтобы ехать на нём в город мимо чахлах деревцев, надышавшихся с рождения выхлопными газами.

Мальчик был в городе трижды. В первый раз он увидел трубу, из которой шёл сизый дым в небо и там таял. Во второй раз он увидел бабку в переполненном автобусе. Бабка смотрела перед собой, отирая шапкой пот с морщинистого лица. В третий раз мальчика привезли на рынок и надевали на него в палатках куртки и штаны. Дул ветер, шёл дождь, пузырились лужи, и холодные пальцы продавщиц сновали по его телу, натягивая и снимая вещи. Лужи, оживлённые дождём, были красивыми, а всё остальное – нет.

Очень скоро отец заподозрил мальчика в непригодности к жизни. Мальчик всё делал очень долго и хорошо, а надо было быстро и без выпендрёжа. В пятнадцать лет мальчик колотил забор. Столбы вкопал отец, он же прибил верхние и

нижние перекладыны. Мальчику надо было только приколотить уже напиленные штакетины перпендикулярно земле, одна к другой. Мальчик прибивал их месяц. В каждой досочке он видел особую досочку, которой подходит другая особая досочка с такими же выемками, сучками и изгибами. Если бы люди так подбирали себе пару, как мальчик подбирал досочки, на земле наступило бы всеобщее счастье или никто бы никогда не женился. Отец рассердился на мальчика, обозвал его лентяем и копушей, а потом взял молоток и за полдня наколотил забор. Забор получился обычным, с щелями, где в палец, где в два, но он был. Ночью мальчик взял гвоздодёр, оторвал тяп-ляп приколоченные доски и прибил их по своему разумению. Он очень страдал от того, что приходилось спешить, поэтому его разумение отразилось в заборе слабо.

Кроме того, мальчик увлёкся растениеводством. Он выращивал цветы, подвязывал хилые ручки смородины, а картошку сажал вдумчиво и медленно, что тоже не радовало отца.

В школе мальчик учился хорошо, но странно. Он не мог пропустить пример, который у него не получался, и решать следующий, потому что контрольная, застревал на первом и получал двойку. Терзал он и учителя литературы, особенно в седьмом классе, когда проходили Нагорную проповедь. Например, мальчик мучил его эпиграфом к рассказу Андрея Платонова «Юшка», подбирать который надо было из Нагорной проповеди.

Когда на мальчика злились и отец и учителя, он уходил в лес. Зимой мальчик лепил снежки и подбрасывал их вверх, наблюдая, как они падают. Или любовался причудливым инеем на стволах сосен. Летом, весной и осенью он ходил к большому муравейнику смотреть, как живут мураши. Или сидел на берегу Морвы, очарованный бесконечным течением воды. Или гулял по полю с коровами, которых можно было гладить и читать в их влажных глазах спокойную ласку. Коровы напоминали мальчику Иисуса Христа.

В семнадцать лет мальчик окончил школу и поехал в город учиться и недоедать. Отец и учителя были стыдливо рады его отъезду. Мама мальчика, наверное, не была бы рада, но она умерла, и из неё вырос папоротник. Отец хотел выдрать папоротник, но мальчик не дал, подозревая между всеми ними связь. «Что ещё за связь?» – спросил отец. Мальчик объяснил: «Ты встретил маму, и из мамы вышел я. Потом мама умерла, и из неё вышел папоротник. Не надо его рвать, он из её живота растёт. Вы и так уже меня вырвали». Отец, выслушав эту чушь, выругался, однако папоротника не тронул.

Приехав в город, мальчик сдал ЕГЭ и поступил на истфак Пермского университета. Ему выдали студенческий и поселили в общагу. В общаге все пили, очень много болтали и хотели девушек вслух. Мальчик с трудом выносил эту трескотню и невозможность побыть одному, когда хочется. Недалеко от общаги была железная дорога. За железной дорогой

текла Кама. Мальчик любил там бывать, глядя, как железные «цапли» черпают из воды песок. Нашёл он и лес. Конечно, это был не сельский лес, а городской, за Дворцом культуры железнодорожников, но там водились разные птицы, ручные белки запрыгивали на плечо, и был маленький пруд, где плавали утки.

На втором курсе мальчик влюбился в девушку. Все её звали Машей, но мальчик называл Марией, столько библейского света исходило от её лица, как ему казалось. Мальчику хотелось взять Марию за руку и показать ей лес и Каму, познакомиться с белками и птицами, рассказать про ласковых коров и показать, как течёт Морва. Мальчик ходил за Марией светлой тенью и однажды с ней заговорил. Они стали друзьями и дружили целый год.

Через год мальчик сказал Марии, что любит её, а Мария сказала мальчику, что не любит его и уезжает учиться в Петербург. И она действительно уехала в Петербург и вышла там замуж, и родила дитя, и нашла своё счастье. На прощание она подарила мальчику перочинный ножик, очень красивый, изготовленный французской фирмой «Лайоль». Она специально его купила, потому что мальчику нравились перочинные ножики. Мальчик же, как ни странно, тоже нашёл своё счастье, потому что любил Марию всю оставшуюся жизнь. Он любил её, преподавая в университете, любил, женившись на другой женщине, любил, наматывая круги по психиатрической больнице под галоперидолом, любил, вер-

нувшись в родное село, чтобы похоронить отца рядом с матерью.

В 2044 году, умирая в своей кровати одиноким больным пятидесятилетним стариком, мальчик вовсе не был одинок, потому что в любой момент, стоило ему только пожелать, перед ним возникал образ Марии, и он говорил с ней и улыбался. А ещё у него был её ножик, который он сумел пронести через все житейские бури. Мальчик гладил его перед сном, сжимал маленькую рукоять, ловил солнце на лезвие и пускал зайчиков на потолок, преображая тёмную комнату.

Я это всё знаю, потому что купил дачу в том селе и хоронил мальчика. Тесный гроб, французский «Лайоль», две гвоздики и очень много света. Таким мне запомнился тот день.

Эмигрант из Беднолэнда

Десять лет назад на улице Сибирской в здании бывшей типографии блистал лучший клуб Перми «Ветер». Там же находились ресторан «Санта-Барбара» и клуб попроще – «Блэкбар». «Ветер» посещала золотая молодёжь, редкие красавицы, заезжие звёзды и спортсмены.

В ту пору в «Ветре» работал и мой друг Борис на так называемой внутренней охране – сидел за столом в коридоре и досматривал вышибал, официантов и барменов, чтобы они не пронесли в клуб спиртное. Разница между магазинными ценами и клубными была огромной: официант мог купить бутылку водки за триста рублей и в ту же ночь перепродать за полторы тысячи.

Борис работал по графику сутки через двое. Я знаю, что до этого он пережил какое-то страшное горе, сильно пил, был слегка не в себе. Искал то ли смысл жизни, то ли истину, без которых, видимо, применить себя не мог. А потом связался с христианством, где обрёл прощение, не знаю уж за что, стал повсюду ходить с Библией, бросил пить и ругаться матом, располнел и нашёл наконец-таки долгожданную работу.

Работу Борис искал мучительно, потому что в свои двадцать четыре года диплома никакого не имел, слова «менеджер» не понимал, а к торговле относился как к чему-то

грязному, не умея понять, почему покупка задёшево и продажа задорого называется делом честным. Мытарства Бориса продолжались до тех пор, пока он не встретил Славу – мутного мужика, который поставлял охранников в питейные заведения Перми. Понятия не имею почему, но Слава проникся к Борису и устроил его в модный кафетерий на улице Ленина.

На первую смену Борис пришёл обритым под машинку. В брюках, рубашке и пластиковых туфлях из социального магазина. Ещё его волновали красные пятна на лице, которые нет-нет да высыпали. На фоне французских окон, диковинных растений в кадках и европейского интерьера Борис смотрелся эмигрантом из Беднолэнда. Как вы понимаете, проработал он там недолго. Через три часа явилась хозяйка кафетерия – девушка холёная и эффектная, а ещё через час приехал Слава с мрачным застывшим лицом. Он позвал Бориса за дальний столик, усадил и сказал:

– Хозяйка тебя уволила, извини.

Борис очень расстроился:

– Это из-за одежды, да?

Он умел спрашивать, как бы это сказать, напрямую, что ли. Слава устался в стол и не решился соврать:

– Она сказала, что ты страшный. Урод, короче.

По лицу Бориса пробежала дрожь и оборвалась на подбородке. Слава первый раз столкнулся с такой причиной увольнения, ему было не по себе. Он отхлебнул кофе и сказал:

– Не бери в голову, Боря. Она сука, понимаешь? Сука конченная. Семьсот рублей смена, Брэда Питта ей, что ли, подавай?! Ты нормальный пацан. Ты не думай...

Борис достал из кармана маленький блокнот и коротенький карандаш. Пролистал его и посмотрел на Славу.

– Скажи мне, как её зовут?

Слава насторожился:

– Тебе зачем?

Борис показал глазами на блокнот:

– Это мой молитвенный лист. Я буду за неё молиться.

Слава помолчал, переваривая.

– Ты христианин, что ли?

– Да.

– Ладно. Как знаешь... Ольга Ерёмина.

Борис записал в блокнот и протянул Славе руку.

– Спасибо, что попытался мне помочь.

Слава руку не выпустил.

– Подожди! Давай я тебя в «Ветер» устрою? Я директора знаю. Давай, а? Сиди здесь, я щас позвоню!

Слава вскочил и ушёл на улицу звонить. В этот же день Бориса взяли на внутреннюю охрану в клуб «Ветер». Директор Михаил Львович посмотрел на него и велел завтра к девяти утра выходить на смену.

Надо сказать, Борис не любил афишировать свою религиозность. Например, в первую смену он ни у кого не спросил, где тут можно помолиться, но самостоятельно облюбовал

щитовую и в обед преклонил колени там. Борис всегда молился на коленях, потому что в Евангелии написано: «Войди в комнату, притвори дверь и преклони колени свои», даже если комната – не комната, дверь – не дверь.

С планировкой клуба и новыми обязанностями Бориса знакомил сменщик Андрей. Слегка взбудораженный от недосыпа и радостный от обретения нового, третьего, айфона, который он на днях взял в кредит, Андрей не выпускал его из рук, гладил экран большим пальцем и лишь изредка кривился, когда некстати вспоминал о двенадцатитысячной зарплате и ежемесячном платеже, но платёж был далеко, а айфон приятно грел руку, поэтому Андрей не заморачивался.

На первом этаже находился пост охраны – стул, стол и журнал посещений, дальше – винтовая лестница на второй этаж, «Санта-Барбара», щитовая, туалет и сам «Ветер». Главной и почти единственной обязанностью охранника-вахтёра был досмотр персонала перед и после смены.

Мало-помалу Борис втянулся в жизнь клуба. Познакомился с завпроизводством Фирой Сергеевной, кормившей его вкусными обедами и даже деликатесами вроде гаспачо. Фира Сергеевна была весёлой сорокапятилетней женщиной с полными руками и тёплой улыбкой.

Познакомился он и с ночной охраной, вернее, с вышибалами – мужиками крутыми и спортивными, приходившими в клуб только по ночам пятниц и суббот. Особенно среди

них выделялись Олег и Миша. Олег прошёл Иностраннный легион и напоминал утёс, спокойный и равнодушный, который не сдвинешь и ничем не проймёшь. Миша имел корочки мастера спорта по боксу и жадно смотрел на танцовщиц.

Главной среди них была Жанна – стройная смуг-лая брюнетка, уверенная и яркая, как из фильма. Ещё Борис познакомился с официанткой Алёной. Двадцатилетняя, рыжая, воздушная, она училась на актрису в институте культуры, а здесь подрабатывала. Вообще, Борис не то чтобы со всеми подружился, вначале он просто узнал, как кого зовут, и с беседами не навязывался, но со всеми здоровался, улыбался приветливо и увлечённо читал книжки.

В первую же смену Борис попросил у Михаила Львовича разрешения читать на работе книги. Михаил Львович на ходу кивнул и куда-то побежал, он всегда куда-то бежал, такой уж он резвый человек. На работу Борис принёс три книги: Библию, «Идиота» Достоевского и «Аврору» Якоба Бёме. Захватил он и толстую тетрадь, куда выписывал стихи и фразы для дальнейшего обдумывания. Первой это собрание сочинений заметила Фира Сергеевна. Она ничего не сказала, только в смены Бориса стала часто выглядывать с кухни, как бы проверяя – читает или нет? Борис читал. К нему присматривались.

Вскоре его упоённое чтение, отчуждённость, то, что он какой-то не «свой», заметили все. По клубу поползли слухи и шепоток. Сектант, свидетель Иеговы, старовер, протестант,

вольтанутый. Борис вдруг начал всех раздражать самим фактом своего присутствия. Он не слушал музыку, не играл в телефон, не поругивал начальство и низкую зарплату, не курил, был вежлив, предупредителен и ровен до тошноты. Танцовщицы, на которых пялилось всё мужское население клуба, вообще записали Бориса в геи, потому что он единственный не пялился, а девушки это хорошо чувствуют. Однако бармен-гей их предположение опроверг, геи такие вещи тоже чувствуют. Тогда Бориса дружно записали в загадочные асексуалы.

Невзлюбили его и мужики-вышибалы. Они приходили на пост погреться и травили байки про бухло и тёлочку, которым Борис ни разу не улыбнулся, пробовали угостить его изъятым на входе виски, но и угостить у них не получилось. В их кругах Борис считался высокомерным типком.

Однако сильнее всего его возненавидели бармены и официанты. Борис наотрез отказался вступать в сговор по продаже магазинной водки, но и начальству ни на кого не донёс, отчего прослыл гнидой, но благородненькой. Через месяц персонал клуба свыкся, что в смену Бориса проносить что-либо бесполезно. «В пятницу кто? А, блин, истукан этот! Ладно, давай в субботу». К февралю новый охранник превратился в природное явление вроде дождя или гололёда.

Однажды шеф-повар «Санта-Барбары» и Фира Сергеевна собрались ехать на важный гастрономический конкурс. Борис, как обычно, читал за столом и что-то выписывал. Когда

все приготовления были закончены, к нему подошла Фира Сергеевна и тихо сказала:

– Помолись, пожалуйста, чтобы у нас всё получилось.

Борис кивнул, сходил в щитовую и помолился. Назад Фира Сергеевна вернулась, окрылённая победой. Я не приписываю эту победу молитве Бориса, я приписываю её мастерству поваров, но Фира Сергеевна сочла это заслугой Бориса, растрезвонив на весь клуб, что он помолился – и вот.

Был вечер пятницы, когда по винтовой лестнице спустилась Жанна в коротком невесомом платье, прошла мимо стола и юркнула на улицу покурить. Борис уже много раз наблюдал эту картину бестрепетно. Но сейчас он взял тёплую куртку, которую выдавали охранникам на зиму, вышел за Жанной и утеплил её.

Жанна вскинула бровь.

– Как мило. Спасибо.

– Пожалуйста.

Борис пошёл назад, но Жанна взяла его под руку.

– Постой со мной. Или тебе холодно?

– Холодно, но я постою.

– Давно хотела спросить... Тебе сколько лет?

– Двадцать четыре.

– А как будто пятьдесят.

Борис промолчал, не увидев в этом высказывании вопроса. Жанна затушила окурок.

– Ты из какой секты?

– Я не из секты. Просто Библию читаю.

Жанна обвила шею Бориса руками.

– Скажи честно – я тебе нравлюсь?

Борис посмотрел ей в глаза.

– Я тебя люблю.

– Что?! Ты реально псих!

Жанна рассмеялась и ушла в клуб. Борис вернулся и продолжил чтение. Его волновала антиномия кальвинизма и арминианства, но я в этом не понимаю, поэтому забудем.

В следующую выходную смену, около двух часов ночи, на пост пришёл погреться легионер Олег. Он вытащил из кармана початую бутылку виски, отхлебнул, спрятал и спросил:

– Я вот в детдом вещи вожу, я в рай, думаешь, попаду?

– Ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас,

Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился.

– Это чё щас было?

– Послание к Ефесянам, глава вторая, стих восьмой.

– Ну, ты, блин, и задрот! Выпиши мне.

Борис вырвал из тетрадки листочек, записал стих и отдал Олегу. Тот взял, посмеялся, пошевелил губами и вышел.

Очень скоро у Бориса появились и другие собеседники. Людей прибывало к нему, как волны к берегу. Как-то ночью к нему подошёл боксер Миша, дождался, когда они остались вдвоём, и выпалил:

– Моя мать проститутка, но она святая!

Миша весь напрягся. Борис посмотрел на него и кивнул.

Миша «завис», постоял немного и ушёл. Потом он будет часто приходить со своим стулом, сидеть неподалёку и жать ручной эспандер.

На правах юродивого, явления, кстати, чисто русского и в других странах не встречающегося, Борис просуществовал до весны. Весной, а это был апрель, к нему на стол села официантка Алёна. В её глазах виднелись слёзы. Она сразу взяла быка за рога.

– Научи меня верить.

– Зачем?

– Я хочу во что-нибудь верить. Раньше я верила, что стану актрисой, а теперь не верю.

– Почему?

– Меня препод разнёс... А у меня капуста... Работа эта... дурацкая! Ненавижу всё! Ты ещё тут! Сидишь как каменный! Научишь?

– Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Чему тут учить?

– Да-да, это понятно! Вот послушай, препод мне говорит...

И Борис слушал, он всех слушал, иногда что-то советовал, но очень осторожно и больше молчал.

Как-то в мае они с Алёной пошли перекусить в «Виват-буфет», где обычно собирался народ после клуба. Алёна снова прицепилась к Борису с Библией. Борис достал книгу из рюкзака.

– Я помолюсь, если ты не против.

Алёна заворожённо помотала головой. Борис поставил локти на стол, сцепил пальцы в замок, закрыл глаза и прочёл «Отче наш», не повышая тона, но и не сбавляя, и не обращая внимания на многочисленных посетителей. Когда он открыл глаза, Алёна сидела с пунцовыми щеками, прикрыв глаза рукой. Борис спросил:

– Что случилось?

– Не знаю, стыдно. Все смотрят.

– Ну и что? Пусть смотрят. Я не сделал ничего стыдного.

– Как ты не понимаешь!

– Это ты не понимаешь.

– Чего я не понимаю?

Борису многое хотелось сказать Алёне: стыдно плясать на дискотеке под амфетамином, стыдно трахать глазами женщин, стыдно напиваться и блевать, стыдно превращать себя в сексуальную вещь, стыдно не стыдиться, а молиться не стыдно. Но вовремя вспомнив, что это не её, а его стыд, он убрал Библию. Они мило поели и разошлись по домам.

Летом клуб закрыли на ремонт, и Борис ушёл. Я много о нём думала, читала Библию, а вчера утром случайно встретила на остановке.

Я его спросила – равви, почему у тебя всегда так происходит? А он ответил – не может укрыться город, стоящий на вершине горы, и, зажегши свечу, не ставят её под кровать, а ставят высоко, чтобы светила всем людям. Я его спросила

– равви, какое страшное горе ты пережил, что оно сделало тебя таким? А он ответил – если я скажу тебе, ты будешь завидовать и жалеть, а это грех.

Я его спросила – равви, почему нельзя говорить, учить, проповедовать, а можно только показывать и являть? А он ответил – потому что говорящий не знает, а знающий не говорит.

Я его спросила – равви, как мне закончить этот рассказ? А он ответил – ничего нельзя закончить, Жанна, смерти-то нет.

Святая троица

Полетел я на юг, у меня там домик арендованный, а вокруг него садик, навес тенистый из лоз виноградных и маленькие старые гипсовые скульптуры ангелочков по саду разбросаны, вульгарные, конечно, если отшкрябать, а так, с налётом времени, с этакой патиной, очень премилые, иные даже страшные. Страх – обильное чувство, ему можно доверять. Если какая-то штукovina способна его вызывать, значит, не совсем она и халтура, пусть даже, может быть, как халтура и задумывалась. Тут для примера набоковская «Лолита» подходит. Роман грязный, глупый, для подростков, дам и она-нистов, однако Набоков большой мастер, вот и слепил из похоти высокую поэзию. Похоть, она ведь как страх – жутко настоящая. А Хронос, если без обиняков, мастер позабористее. Нужны бы нам были эти китайские вазы, не будь им две тысячи лет? И позарился бы я на этих ангелочков, если б не патина? Когда вещь обростает опытом, это уже и не вещь, а целый миф.

С людьми схожие метаморфозы происходят. Прабабка моя, Ольга Григорьевна, та, которая 1912 года рождения, старуха, в сущности, вздорная, потому как из бывших уездных актрис. Да ещё и жарила на сковородке всё подряд, даже то, что приличные люди варят или запекают. Однако рассказы её – про Колчака, который в Пермь пришёл, или про то,

как хлеб в подполе морозили, а отец его потом топориком на куски рубил, или про войну, как про то, как она на работу, на завод, проспала и за это чуть в лагерь не загремела, но вывернулась – ушла медсестрой на фронт, где чего только не случилось, особенно любовь, слушались мною с тем же вниманием, как и «Мифы Древней Греции». Ольга Григорьевна, когда это всё вспоминала, враз молодела и из глупой старухи превращалась в свидетеля эпохи, с россыпью неповторимых бытовых мелочей, которые, как мне кажется, лучше любых анналов передают дух того времени.

Но вернёмся к ангелочкам в саду. Летел я на юг, хоть и один, хоть и с полупустым чемоданом, хоть и с решительным намерением вина в рот не брать. Зовут меня Владимир Павлович Вокулес, сам я из бывших немцев, мелкобуржуазных, ничем примечательным в истории России не отметившихся. Разве что была у нас аптека, да и ту пожгли в 1917 году, перепутав с пьяных глаз Вокулеса с Мойшей, то есть немцев с евреями. Как говорил мой отец, «обознатушки-перепрятушки», но перепрятушек не вышло. Оглядываясь назад, то есть совсем назад, за пределы своей биографии, я понимаю, что приставка «немец» сгинула в нашем роду задолго до моего рождения, в конце 30-х, когда национальности почти исчезли, уступив место слову «коммунист». Меня к немцам и вообще отнести трудно, потому как говорю и думаю я исключительно на русском, а немецким владею на уровне протестантских гимнов, которые на той неделе распевал в кирхе на Ека-

терининской.

На юг, да ещё одиноко, я поехал не от хорошей жизни. Любой человек, осиливший любую из книжек Ремарка, рано или поздно задаётся глупым вопросом о смысле жизни. Я им тоже задавался, но потом окончил школу и зажил равнобедренно. Вернее, попытался. Под ногами моими было неширокое, но крепкое основание из протестантской этики и воспитания вообще, а вверх взмывали две тяготеющие одна к другой прямые линии – труд и семья. Я специально, не только здесь, но и везде, избегаю слов «карьера» и «работа», чтобы не потерять из виду суть своего дела, а именно – труд. Кому-то оно может показаться ветхозаветным, но точнее я придумать не смог. Очень прямо, ровно и ясно представлялась мне жизнь из одиннадцатого класса. Тогда я действительно думал, что это мне именно жизнь представляется, а не биография. Юности свойственно распространять свою судьбу на всю жизнь. Но даже биографию свою, клочок этот, микрозаплатку, ровной сделать мне не удалось.

Закачало, замотыляло меня ещё в детстве. Урывки, урывки... Пух тополиный в сандалии лезет, дом розоватый, два этажа, пёс Буран чумку подхватил, отец с ружьём, мать уехала с челноками, «Денди» купили, продали лишний холодильник «Бирюса». Отец с покупателем, чужим дядькой – руки-грабли, ворочают его по деревянному полу, а мама вздрагивает, губы жуёт, как же – краска-то слазит, мужик гу-гу-гу, отец бу-бу-бу, а у меня чувство детское, пустое, но

острое, как жало осиное, – рушится мой мир, растаскивают. Дядька этот, отец, своими руками, ужас, слёзы, а объяснить не могу, мал, лепет, бессвязность. Во всём бессвязность. Или вот девочка Катя. Стройка, упала, оцарапала коленку. Плачет из синих глаз на загорелую кожу. А я подорожник принёс, грязный, пыльный, облизал, не сомневаясь, присел, подул, налепил. Так и сидим. И всё так важно, так значительно – и холодильник, и подорожник, и небо, каким оно тогда было, и запахи – пироги бабушкины из духовки, гудрон горячий. Невозможно это не полюбить, как невозможно поверить, что будет большее горе, чем продажа холодильника, и будет большее счастье, чем прилепить подорожник и дуть на коленку, нежно держа девочку за руку.

Я нарочно таким языком это всё написал, чтобы вы поняли, какая страшная сентиментальность владела мною с детских лет. Я думал, она владеет всеми, я думал, все охочи переживать переживания и страдать страдания, и совершать внутри себя бурю ради самой бури, ради остроты. Дети, да и подростки редко способны смотреть на себя со стороны и мерить себя тем мериллом, которое впоследствии назовётся «общим», хотя общим никогда и не будет, а будет лишь представлением об общем, таким же далеким от истины, как перевёрнутое изображение в глазах младенца, или плоская земля, или то, что солнце вращается вокруг земли.

Из этой тяги к сентиментальности, казалось, ничего вылиться не могло, однако вылилось очень многое. Я, как бы

это сказать, стал легко подвергаться трагическим идеям и трагическому образу. Мне нравились книги, где герой погибает в конце. Особенно мне нравилась Библия. Возможно, я превратно понял христианство. Жизнь рисовалась мне недолгим, но предельным напряжением сил, оформленность которым придавала смерть. Я, например, горевал по Артюру Рембо, буквально обвиняя его в том, что он не умер в Париже, на руках Верлена, в зените своих возможностей. Жизнь торговца, которую он вёл дольше жизни поэта, виделась мне оскорблением красоты. Красота очень быстро стала ключевым понятием моего существования. Я украл красоту у детства, потому что моя способность восхищаться необычным разводам в луже до сих пор перекрывает способность цинично не удивляться ничему.

Собственно, трагедия заинтересовала меня и проникла под кожу не столько из-за нравственного конфликта, который, кстати, не всегда в ней и есть, сколько из-за красоты, из-за того, что красота – это предельное напряжение человеческих сил.

Я искал трагедии, как бедуин ищет оазис. Сначала я нашёл её в подростковой безответной любви, потом в бессмысленности бытия, позже – в незнании своего призвания. Вместо того чтобы жить равнобедренно, раздваиваясь лишь между семьёй и трудом, как выдумалось мне ещё в школе, я зажил рвано и дико, не умея заинтересовать себя надолго чем-либо, кроме нарушения границ и бегства от всякой

жёсткой структуры, внешней или внутренней. Я физически не мог принять запретов, кроме, разве что, самых очевидных, вроде красного огонька светофора. Постепенно, не сразу, из человека, ищущего трагедии, я превратился в персонажа трагедии, а моя жизнь – в некое подобие пьесы. Многие люди играют роли бессознательно, свою я играл осознанно. В попытке достичь правдоподобия я не гнушался ничем. Я спасал девочку Катю, ту самую, с подорожником, от наркотической зависимости. Я даже придумал учёного Тома Уайдлера, который в начале 70-х специально подсел на героин, чтобы пройти дорогой выздоровления, вжиться в шкуру наркомана, побороть зависимость и, наконец, помочь другим сделать то же самое. Во мне всё переплелось. Я хотел пережить трагедию, хотел крайних состояний, хотел бунта и в то же время хотел служить людям, спасать их, бросить себя на алтарь, закрыть грудью дзот, самораспяться на кресте.

Всё это мне казалось большим. Точнее, только ради большого я хотел жить, и, конечно, сам себе я казался большим, но большим не был. На самом деле во мне поселилась червоточина, противоречие, потому что я хотел выйти из нормы, взять за руки отбившихся от стада и вернуть их к норме, хотя сам ей и не думал покоряться.

Чувство особости, сверхчеловечности, в духе Ницше, то ли из-за материнской гиперопеки, то ли из-за того, что памятью, умом и ловкостью я превосходил многих своих сверстников, рано поселилось во мне, направив помыслы в ориги-

нальное русло. Я хотел другим того, что отвергал сам, и в этом желании был бесконечно лицемерен. К двадцати пяти годам я сменил с десятков профессий и почти растворился в наркотиках, алкоголе и азартных играх. Я стал плоским, неинтересным самому себе. Те, кого я спасал, или умерли или встали на ноги; я же копошился на дне, с каждым днём ощущая, как тают мои силы, столь необходимые для рывка. Лицо моей жены, молодой ещё женщины, всё больше напоминало библейский лик, так точно и глубоко проступили на нем росчерки горя.

Отчаявшись совладать с собой, я начал вести дневник. Я хотел обличить самого себя, нащупать хоть какую-то правду, обнажиться, дойти до сути, перестать играть и решиться жить. Знаю, моё повествование звучит горестно, но жизнь моя – ни тогда, ни сейчас – горестной не была. Скорее, она напоминала качели – то мерно раскачивалась, то вдруг замирала, а то рвалась из рук, взмывая «солнышком».

К тридцати пяти годам мой быт оформился в однокомнатную квартиру, доставшуюся мне от бабушки, двух котов, призванных заменить нам с женой детей, ведь настоящих детей я заводить боялся, и работу фрилансера, потому что только с неё меня не увольняли за периодические загулы. В тот день я лежал в кровати, рядом со мной лежали кот, кошка и выключенный телефон, потому что я снова пытался всё бросить, прекрасно понимая, что через три дня бросать резко передумаю.

Иными словами, жизнь шла своим чередом, кроме одного момента – я мучительно пытался понять, почему вечером я вполне разумен и творить безумие не хочу, а утром просыпаюсь без аппетита, «вздрюченным», как говорит моя жена, и мне вдруг становится противна жизнь, а внутри ворочается такая боль, что без водки и наркоты ее никак не унять.

Но я уже знал, что со мной творится. Путь к правде оказался извилистым – через реабилитационные центры, колдуна, одного экстрасенса и двух цыганок. Я лечился от алкоголизма и наркомании, как и предписывало общество, однако в глубине души я понимал, что они лишь следствие, причина в другом. Эту причину озвучил мне врач-психиатр – биполярное аффективное расстройство личности. Он же назначил мне таблетки, которые я отверг после первого же приёма, так они меня обесчеловечили. Болезнь моя оказалось запущенной, поскольку я уже пережил множество приступов без должного лечения. Я узнал об этом на той неделе. На секунду мне стало легче, а потом меня охватил ужас. Оказывается, я живу с этим расстройством с пятнадцати лет. Почти всю сознательную жизнь. И вся моя философия, поиски, любовь к трагедии – не что иное, как попытка затушевать болезнь, обратить её в мировоззрение и жест, накинуть пурпурную тогу на заурядную хворь.

Говорят, правда освобождает. Меня правда обескуражила. Выходило, что я не знаю самого себя, что я живу с посторонним человеком, больным человеком, которому подчи-

нён. Как понять, какие поступки я совершил по своей воле, а какие под действием биполярки? Как отличить свои мысли от мыслей, нащёптанных болезнью? Я расплзлся на части. Но даже за этим по-своему честным расплзанием я без труда угадывал свою лисью подлость. Она говорила мне – ты не плохой, ты не алкаш и не наркоман, возомнивший о себе, ты просто болен. В прежние времена я кивнул бы этим речам и прослезился, это ведь такая трагедия – психическое расстройство. Тут я ударился в воспоминания, силясь обнаружить в них истинно «своё», а не его, не биполярного чудовища. И я вспомнил. Вспомнил, как в детстве бабушка читала мне Библию с картинками и в какой восторг привёл меня маленький орган в нашей кирхе, нездешние его звуки. Свят, свят, Господь Саваоф, и вся земля полна славы Господней! Тогда я тянулся к светлому христианскому мифу и был счастлив. Сейчас я решил потянуться к нему снова. Вернуться туда, где я ещё был собой, а не воплощением болезни.

Как вы понимаете, действовать приходилось решительно – форточка ясности между депрессией и гипоманией вот-вот должна была захлопнуться. Жена уехала на дачу, поэтому я написал ей записку: «Уехал на юг проветрить голову. Поцелую за тебя ангелочков». Никаких ангелочков я целовать не собирался. Не собирался я и посещать арендуемый нами гагрский домик. Я ехал, вернее, летел в Новый Афон, чтобы принять постриг и стать монахом. Знаю, это неоргинально – уйти в монастырь. Многие люди, так или иначе, решались на

это в бреду или в пылу. Но ведь бывает и так, что именно в клише кроется единственный выход. Это как с пафосом, который путают с напыщенностью и потому не прибегают к нему, хотя и стоило бы.

Я уже никого и ничего не стеснялся. Я купил билет, собрал вещи, сел в такси, затем в самолёт и через пять часов вышел из аэропорта Сочи, чтобы опять сесть в такси, доехать до границы с Абхазией, перейти её, нанять машину и доехать до Нового Афона.

Взбираясь по крутым ступенькам к монастырю, я отрывал от себя кровоточащую жену, кровоточащих котов, кровоточащую Пермь, которая отсюда, из пальм и эвкалиптов, из головокружительного воздуха гор, казалась мне милее всех городов мира, я хотел прижать её к себе и расцеловать в бетонные щёки. Но я не повернул назад. Монах, подметавший мощёный двор, отвёл меня к настоятелю. Это был жилистый, не старый ещё мужчина, с белой бородой на загорелом морщинистом лице и выцветшими, некогда синими глазами. Я сразу представил его капитаном яхты, который всматривается в даль в надежде увидеть землю. Настоятель выслушал меня внимательно. Его взгляд медленно скользил по моему лицу, от одной черты к другой, в глаза он не смотрел. Я рассказал ему всё, опустив лишь диагноз и затаил дыхание. Сейчас я услышу Слово. Настоятель сложил ладони на животе и тихо сказал:

– У вас биполярное аффективное расстройство. Оно раз-

вивается эндогенно, вне зависимости от внешних факторов. Конечно, ключом к ремиссии может быть триггер, но я бы рекомендовал сантиквель и андаловую кислоту. Видите ли, я в миру работал психиатром. Без должного лечения вы в монастыре не усидите, разве что в тюрьме. Болезнь у вас, судя по всему, запущенная, поэтому езжайте домой и пейте таблетки. Первые три дня как во гробе будете лежать, потом сорок дней тенью по пустыне ходить. Дальше станет легче. Ступайте с Богом.

Из монастыря я вышел слегка шатаюсь. Зашатался я ещё, сидя перед настоятелем, где-то посередине его речи. Быть аватаром биполярки, стыдом самому себе я не мог, да и не хотел. Но я уже чувствовал – по щекотанию в носу, по непонятно откуда взявшейся энергии, по общей дерзости мыслей – биполярка рядом, мания стучится в двери, она зла и желает получить своё, как желает этого вода, сдерживаемая плотинной. Каждое мгновение, пока такси везло меня к гагрскому дому, я крал у чудовища его время, торопясь надыхаться впрок, потому что скоро я начну задыхаться, утрачу сон и аппетит, думать забуду о сексе и благоразумии. Так бывает всегда накануне приступа, конца моей ясности.

Из такси я ступил на асфальт и одновременно на тонкий трос, натянутый предопределением между двумя моими крайностями. По этому тросу я дошёл до сада, обогнул ангелочков, отыскал в трёх метрах от земли толстую железную трубу, буйно увитую виноградной лозой, подвинул к ней

стол, нашёл обрубок каната, сумел соорудить из него короткую петлю, сумел крепко привязать канат к трубе. Я не думал. Я позволил мыслям протекать сквозь меня, как вода течёт сквозь камыш. Я будто бы играл роль и никак не мог подвести труппу. Взобравшись на стол, я всунул голову в петлю, затянул её и пнул стол. Только в эту секунду я понял, что сделал, – глаза полезли из орбит, в горле что-то щёлкнуло, зубы проткнули язык. Во рту появился привкус металла. Никакие видения передо мной не проносились – глаза застила пелена. Последний раз я ходил в туалет в Перми, сейчас я сходил в туалет снова. Это потрясло меня едва ли не больше настоящей смерти. Я замахал руками, как ветряная мельница, зовущая Дон Кихота. Ударился обо что-то твёрдое. Ухватился за трубу – сначала одной рукой, потом другой. Сжал пальцы, подтянулся. Закинул подбородок на трубу. Качнулся, забросил ногу. Уцепившись и исцарапав шею, я кое-как снял петлю и рухнул на землю. В голове было пустынно. Там вертелись всего три слова: сантиквель, андаловая, кислота. С этой святой троицей и синяком-ошейником я поехал домой.

Швеллера

Вокруг был май. Он сначала распустился, как спресованный в таблетку чай в чайнике, а потом скукожился, как крайняя плоть на морозе, ольдел. Знаю, нет такого слова – ольдел, но моя прабабка так говорила, и я буду. Весна была непримечательной, одно радовало – в июне наши на Евро всех в футбол обыграют, потому что позавчера поп Смирнов на вертолёте Австрию с иконой Марфы Власяницы облетел. Это обнадёжило.

Нас трое – я, Серджио и Мика. Мы все профессиональные лентяи.

Я ленился от философии. Если бы какой-то умник перебросил меня в прошлое, а там какой-нибудь дурак посвятил меня в рыцари, то на моём щите красовалась бы фраза Довлатова: «Я передумал менять линолеум, ибо мир обречён». Согласитесь, глупо суетиться по мелочам с такой установкой.

Серджио ленился по экономическим соображениям. Он лежал на диване, а мать ему кричала: «Устройся на работу, нэработь!» Серджио парировал: «У тебя два взаимоисключающих параграфа в одном предложении. Сама посуди: как нэработь может куда-то устроиться, если он нэработь? И вообще – платят мало. Я что, по-твоему, мексиканец?» Серджио имел обыкновение переводить рублёвые зарплаты в доллары, поэтому не мог работать и от достоинства.

Мика, она же Микелина, она же Марина, она же Аня, и я до сих пор не знаю, как из Ани получилась Марина, но зато знаю, как из Марины получилась Микелина. Всё очень просто. Однажды Мика предпочла моему обществу общество Семёна, у которого были деньги и день рождения. На предательство я отреагировал стихами:

Моя подруга Микелина,
в порядке штрафа,
мне предпочла кормить павлина
в именье графа.

Дальше в стихотворении граф поставил Микелину раком, что внезапно придало нашим с Микой отношениям взрывоопасную двусмысленность, ведь я прочёл ей этот стих целиком.

Вообще говоря, в смысле книг и всяких постмодернистских передёргиваний наша троица своё дело знала. Мы были идиотами не в классическом виде, а как Базаров, с идеями и мечтами. Нас, кроме прочего, объединяла мечта разжиться опасной высокооплачиваемой работой, чтобы – раз! – и в дамки. Или хотя бы в нувориши. Или хотя бы тридцать тысяч рублей в месяц. Мы подумывали добывать уран или стать промышленными альпинистами, но уран привлекал нас больше, потому что мы боялись высоты. Радиацию мы воспринимали как нечто необязательное.

Я курил на балконе, когда зазвонил домашний телефон.

Это был Серджио. Он нашёл работу вахтой в Горнозаводске. Точнее, его мать нашла ему работу в Горнозаводске и допинала Серджио до телефона. Естественно, он позвонил мне и Мике. Я курил красную отцовскую «Яву», меня мутило, поэтому я чётко расслышал только три слова: вахта, курлы-курлы, Горнозаводск, курлы-курлы, швеллера. Нет, ещё я запомнил, что через час надо быть на остановке с рюкзаком и пятихаткой. Пятихатку мне сходу дал отец, потому что святое.

Я люблю ждать Мику. На остановке, у магазина, возле ночного клуба, не важно где. Обычно к тому месту, из которого я жду Мику, хотя, если говорить начистоту, жду я её не из места, а из приятного волнения, можно подойти двумя-тремя дорогами. Поэтому я начинаю игру – пытаюсь отгадать, откуда она появится на этот раз. Сегодня вариантов было три: гастроном, трубы теплотрассы, идущие поверху, и автосалон «Сузуки». По логике, Мика должна была появиться из-за гастронома или из-за тепло-трассы. Я смотрел то туда, то туда, и почему-то считал про себя до ста. Потом до двухсот, трёхсот и т. д. Короче, я оказался не готов к лёгким прохладным ладоням на своих глазах. Я будто опал. Как лошадь, скачущая галопом по ипподрому, а тут – бац! – и финиш. Скорее по наитию, чем специально, я мотнул головой, желая избавиться от шор, и поцеловал пахнущую кремом Микину ладонь, сползшую мне на губы. А потом лизнул. Мика отдёрнула руку.

Мика: Щикотно!

Ей нравилось вызывать к жизни моего граммар-наци и смотреть, как я сдерживаюсь, чтобы ее не поправить. Я повернулся, подхватил Мику за талию и закружился с нею. Издалека долетел голос Серджио:

– Брось эту заразу немедленно!

Я поставил Мику на асфальт, она покраснелась, из тугого хвоста выбилась прядь и закрыла ей правый глаз. Такого рода асимметрия шла Мике. Её лицо было уж слишком правильным. Иногда я задаюсь вопросом: как у грубого мента и уставшей домохозяйки могла родиться Мика?

Мика: Ведмедь. Чуть не сломал мои тонкие косточки, изящные мои позвонки.

Я: Если б сломал, я бы стал за тобой ухаживать. Кормил бы тебя с ложечки...

Мика: ...выносил бы говно в тазике.

Я: Ты к себе несправедлива. В горшочке.

К нам подошёл Серджио.

Серджио: Всё твиксуете, всё баунтите.

Мика: Тебе лишь бы тити.

Серджио: Я – консерватор.

Я: В каком это смысле?

Серджио: В смысле верности моих губ тому первому, что их коснулось.

Мика: Всегда подозревала, что ты засыпаешь с соской во рту.

Серджио: Дурында. Первой коснулась моих губ мамина титя.

Я: Запахло Эдипом, чувствуете?

Мика: Не называй грудь «титей». Это вульгарно. Всё равно что «кушать».

Серджио улыбнулся и закурил.

Серджио: Какие же мы восхитительные снобы, какие патриции!

Из-за поворота появился шестой автобус. Мы изготовились к десанту наоборот. Не то что бы нам непременно хотелось сесть, сидеть мы не любили, зато мы любили стоять возле водителя и смотреть вперёд через лобовое стекло. Нас волновала перспектива.

Мика встала к поручню, я встал сзади, как бы заключив её в кольцо рук. Серджио примостился на ступеньке у двери.

Мика: Серджио, так и будешь молчать?

Серджио: Рассказывать нечего. Едем в Горнозаводск красить швеллера. Жить будем в двушке. Заплатят по пятнашке. Плюс – двести пятьдесят рэ ежедневно на питание.

Я: Что такое швеллера?

Мика: С языка снял.

Я поцеловал Мику в затылок.

Я: Как ты умудряешься...

Мика: Что?

Я: Нагнать эротизма в расхожую фразу.

Мика: Это интонация. Интонация похожа на стиральный

порошок – способна отстирать даже самую пыльную фразу.

Серджио: Ау! Любовнички! Швеллера!

Мика: Что с ними?

Серджио: Не что, а они. Они – это железные хуяборы, скрепляющие гигантский ангар. Нам надо их покрасить.

Я: И мы покрасим. Более того, мы пойдём к Последнему морю и, клянусь Большим Голубым Небом, покрасим все швеллера мира!

Серджио: В Горнозаводске нас встретит хозяин...

Мика: Работодатель. У нас нет хозяев.

Серджио: Вы меня задрали. Больше ни слова не скажу!

Мика: Ну, скажи, скажи, что с нами сделает работодатель?

Серджио: Покажет объект и отвезёт нас на квартиру.

Я: Заявляю два протеста. Во-первых, есть вероятность, что мы мифологизируем объект, тем самым превратив его в субъект. У Бабы-яги и русского народа с избушкой получилось, чем мы хуже? Во-вторых, я отказываюсь ехать на квартиру, я хочу ехать в.

Мика: Поддерживаю предыдущего оратора. Серджио сегодня не в форме.

За всем этим трёпом автобус приехал к Центральному рынку. Миновав гнусный подземный переход, мы вышли к автовокзалу, купили билеты до Горнозаводска и уже через десять минут поехали красить швеллера.

Обычно в рассказах, если кто-то куда-то едет, автор описывает пейзаж. Я пейзаж описывать не хочу, потому что он –

это сосны, берёзы и поля со столбами. Лучше я опишу Мику, себя и Серджио.

Нам по двадцать лет. Мика высокая для девушки, 175 сантиметров, с длинными, предположительно каштановыми волосами. Предположительно не потому, что я придурок, а потому, что я дальтоник. Я с детства живу в чёрно-белом мире. Такой вот нечаянный или, наоборот, преднамеренный неонуар.

Мика – пацанка, но пацанство её, выросшее из детской беготни по стройке, здорово поколебалось созреванием. Сложно быть пацанкой и писаной красавицей одновременно. То есть внутренне это, может, и не сложно, но когда люди вокруг реагируют на тебя, как на деву, и ведут себя соответственно, сложно очень. Наверное, из-за этого Мика носила балахоны, широкие джинсы и кеды. Она сражалась за свою свободу с чужой похотью, но получалось слабо. Лицом, да и фигурой Мика походила на более женственную версию Хилари Суонк, хотя ничьей версией она не была. В ней удивительным образом соединились пролетарское происхождение, острый ум и вкус. Мика с детства много читала и, обладая хорошей памятью, без труда запоминала целые отрывки понравившихся книг. Она могла даже перечислить корабли из «Илиады».

В школе мы учились с ней в одном классе – с углублённым изучением предметов ХЭЦ – художественно-эстетического цикла. Был у нас в школе и ораторский дискуссионный

клуб. Именно там мы с Микой сблизились. Вернее, нас сблизило задание: «Учёные нашли в леднике древних мужчину и женщину и сделали вывод, что перед ними Адам и Ева. Выясните, на каком основании они сделали такой вывод, задавая уточняющие вопросы». Для решения задачи председатель клуба и наш преподаватель истории цивилизаций Григорий Абрамович разбил нас на пары. Я оказался с Микой. Мика сказала – слушай, их же не рожали! А я добавил – хотел бы я знать, где их пупки? Короче, задачу мы решили правильно.

С Серджио мы сдружились благодаря футболу. Я был левым крайним нападающим, а он идеальным подносчиком снарядов. Не Хави, конечно, но для Перми вполне. Серджио на самом деле дылда, угловатый и острый, будто бы вырезанный из дерева столяром-неумехой. Обычно люди такого сложения неловкие, но он исключение. Плюс – большой любитель истории и всяких параллелей. К девятому классу он зачитал историю Рима до дыр. Без труда отличал ионический ордер от коринфского. Обожал «Воспоминания Адриана» Маргерит Юрсенар. Мы частенько спорили с ним, кто больше заслуживал Нобеля – она или Фаулз.

В автобусе до Горнозаводска мы с Микой устроились на передних сидениях. Серджио сел за нами с какой-то бабкой. Я повернулся к нему и заодно оглядел полупустой салон. Старики, тётки, рассада, бурые сумки.

Мика вплела свои пальцы в мои. Меня всегда поражала

её естественность, когда дело касалось нежности. Мика не готовилась к её проявлению, она просто её проявляла, как дыхание. Мика села у окна, она всегда садилась у окна. Мне это нравилось, потому что я мог смотреть в окно и в то же время смотреть на неё. У меня сложное отношение к путешествиям. В путешествиях я почему-то чувствую себя наиболее одиноко. Я не узнаю себя не только в людях, но и в небе, пейзаже, воде, архитектуре, звёздах. Иной раз мне кажется, что я совершенно один на свете и это не прекратится никогда. В такие минуты профиль Мики дороже мне всех профилей мира, пусть и отчеканенных на каких угодно золотых монетах. И также дорог мне Серджио, его любовь к Риму, запах, добрый смех.

Мика: Ты грустител...

Я: Так заметно?

Мика: Не глазу.

Я: Я хочу уснуть с твоей рукой в своей руке. Это ведь и есть любовь, правда?

Мика: Говоришь, как Джейкоб Барнс.

Я: А ты поговори, как Брет Эшли.

Мика: Ох, я так устала, милый.

В разговор влез Серджио.

Серджио: Надо купить чучело собаки. Дорога в ад вымощена некупленными чучелами собак.

Мика рассмеялась.

Я: А потом мы будем ловить форель в горной реке Ира-

ти...

Мика: Я спутаюсь с матадором...

Серджио: А я уеду в США, где никто не понимает корриду...

Автобус медленно переваливался по разбитой дороге. Солнце, не ощутимое на улице из-за холодного ветра, уверенно припекало через стекло.

Я задремал и проснулся уже в Горнозаводске. Небо прояснилось, напоминая о весне. На остановке меня встретил работодатель. Коренастый такой мужик из тех персонажей, которые любят сжимать чужие ладони, как свою собственность. Несть числа способам самоутвердиться, когда самоутверждать нечего.

Он протянул руку, а я замешкался. Моя ладонь почти помнила ладонь Мики, и мне было жаль отдавать эту память. Но пришлось – я ответил на рукопожатие.

Мужик: Привет. Точно в одного справишься? Ангар-то огромный.

Я: Конечно, справлюсь. Я стадионы красил. Поехали.

И мы поехали. Я покрасил швеллера и вернулся домой.

В Архангельск к девочке-собаке

Неприятный я человек. Самому себе неприятный. Не потому что таким уродился и шёл к этому, как семечка подсолнуха идёт к скорлупке не в том горле какого-нибудь Бориса, который один-одинёшенек, и никто ему приёма Геймлиха не сделает. Я сомневаюсь, что потенциал неприятности был во мне изначально и велик. О скрытом потенциале или, как говорят у нас в монастыре, – человеке в вакууме, судить очень сложно. Но я вообще не об этом хотел рассказать.

У нас в монастыре раскол случился. Не тот, что в 1666 году, а недавний. Монастырь наш на берегу Камы стоит, возле поселка Верхняя Курья. Зимой, на Крещение, мы палатку военную на берегу ставим и приуготавливаем прорубь, дабы мирские ныряли в неё от грехов. Прошлой зимой убирать палатку выпало мне. Я уже обратно шёл, когда со снега газету подобрал. Там писали об одной девочке из Архангельска, которую воспитала стая собак. Никакого человеческого потенциала в ней отыскать не удалось. Она, извините, задирает лапу, лает, скулит, виляет задом и плевать хотела на Пушкина, иконы и выпечку. Стало быть, разговоры о божественной искре в человеке сильно преувеличены. Стало быть, если искра и есть, задуть её очень просто – отвези младенца в лес, и всё. В своё время такое открытие едва не сокрушило Редьярда Киплинга. Он даже усы сбрил, а потом взял и оче-

ловечил Маугли на бумаге, хотя в действительности тот как был животным, так животным и остался.

Этот вопрос в нашем монастыре довольно остро стоял. Потому что газету сначала я прочитал, а потом и вся братия. На самом деле это бездна вопросов, текучесть такая мёбиусная. Во-первых, если человек уже создан по образу и подобию Божьему, то как же он псина? Во-вторых, где свобода воли? Тут братия разделилась кардинально. Одни взяли сторону Кальвина, то есть богослова Осипова, другие грудью встали за Арминиана, сиречь митрополита Сурожского из Англии. По первым выходило, что человек живет и действует внутри Божьего плана, где всё предопределено, но человек подробностей предопределения не знает, а посему как бы орудует свободно, хотя на самом деле и нет. По вторым выходило, что никакого Божьего плана нет, иначе неэтично, иначе Бог специально Адама яблоком накормил, определил к грехопадению, довёл до ручки, а потом, чтобы человек на той ручке не удавился, послал на Землю во искупление людских грехов своего сына Иисуса Христа, чтобы он принял смерть мученическую, какая Мелу Гибсону и не снилась, а потом воскрес ради общего спасения, которое через веру в Него приходит ко всякому человеку. Вторые говорили первым: «У вас не Бог, а дитя злое, которое муравьям лапки отрывает и лупой их жжёт!» Первые говорили вторым: «Ваш Бог дальше носа своего не видит и слаб, как человек обыкновенный!» На это вторые отвечали первым: «Оксти-

тесь! Иисус – Богочеловек, а не Громовержец! В том-то и его божественность, что он самый человеческий из нас!» Первые не соглашались: «Сперва Бог Он, а потом человек! Да и как вы смеете с Христом себя сравнивать? Он от Духа Святого рождён непорочной Девой Марией, а вас всех папки с мамами настругали!»

Прения по этому вопросу заняли монастырь на три месяца, пока настоятель не вывесил объявление: «Вопрос отсутствия или наличия свободы воли у человека обсуждать строго запрещается! Иначе – анафема».

Естественно, братия вернулась к вопросу первому, из которого что только не вытекло. Итак. Если человек создан по образу и подобию Божьему, то как же он псина? Я, надо сказать, от бурных разговоров уклонялся. Я пришёл в монастырь искать спасения от буйного темперамента и не хотел распалять эту сатану жаркими спорами. Не такими были братья Григорий, Михаил и Василий. Григорий, мужчина в соку и рыжебородый, укрылся в монастыре от долгов, которые произвёл ради стриптизёрши, ибо любил ее крепко. Михаил пришёл сюда от неспособности жить в грубом мире, потому как сам был нежен и трепетен, усов почти не имел, подмышками не колосился, носил бледную кожу и тонкие запястья. Василий, хоть и Василий, напоминал злую гориллу, он кого-то убил, отсидел, помыкался по притонам, пил, колосился и раскаялся. Михаил слыл у нас богословом крайних сурожских взглядов. Василий, напротив, возглав-

лял осиповцев. Григория вообще обзывали «розовым», но не потому что он мужеложник, а из-за философа Розанова, который розовым называл христианство Достоевского, намекая на его излишнюю любовь и оторванность от реальной жизни. Григорий не то что бы сильно оторвался от реальной жизни, но любовь трактовал своеобразно. По большому счёту разночтения трех монахов начинались и заканчивались второй Христовой заповедью: «Возлюби ближнего своего как самого себя». Михаил понимал её так, что всякий человек – ближний, и любить его надо хотя бы потому, что в нём есть образ и подобие Божье. Та самая изначальная искра. Василий понимал заповедь строже, считая, что ближний – это друг или родственник. Он не был склонен распространять во все времена дефицитную любовь шире этого круга. Григорий смотрел на заповедь иначе. Он говорил, что это не одна заповедь, а две – возлюби себя и ближнего своего, ведь если ты не любишь себя, как ты сможешь полюбить другого? Тут Григорий подчёркивал, что любовь к себе надо понимать не в смысле мирского эгоизма, нарциссизма и самолюбования от гордыни, а в смысле духовном, подлинно библейском. На этом этапе между троицей разгорались самые нештучные споры. Статья про девочку-собаку из Архангельска только усугубила ситуацию.

В тот день мы сидели в предбаннике, была очередь нашей кельи топить баню и приуготовлять воду. Григорий, Михаил и Василий молчали в разные стороны. Неожиданно Михаил

вскочил, прошёлся туда-сюда.

Михаил: Как она может любить Бога и людей, если она собака?

Василий: Вот собак не трогай. Они получше людей любят.

Григорий: Он не о том. Как мы можем знать, любит она или нет?

Василий: Погодь. «По плодам их узнаете их». На плоды смотреть, и всё.

Михаил: Какие плоды у собаки?

Григорий: Я больше скажу – что есть плоды? Это соответствие нормам человеческой морали, нормам общежития? Если так, то как же «не ходите пред людьми, ходите пред Богом»?

Михаил: Исторический контекст. Вспомните первый век христианства. Если христианин того времени соблюдал бы нормы морали и общежития Рима, он бы перестал быть христианином.

Василий: А как же «всякая власть от Бога»?

Михаил: Ты искажаешь, у Павла так: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение».

Михаил: Какая разница, смысл-то тот же!

Григорий: Павел сказал так из-за боязни, что христиане увлекутся антиримскими настроениями и погибнут от рук

Империю.

Василий: Не надо ля-ля. Он так сказал, потому что Бог – высшая мудрая власть, без Его ведома волос с головы не упадёт, не то что там ещё чего-то.

Михаил: Листок не упадёт, но это в Коране. А у Матфея так: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадёт на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены».

Григорий: Это не стих об абсолютной власти, это слова ободрения апостолам, чтобы они не боялись следовать за Христом.

Василий: Чушь какая. В упор не видишь!

Михаил: Это стих о том, что Бог всё знает, но птиц собственноручно не обрушивает, они падают в силу изначальных божественных законов, а не личного Его вмешательства.

Григорий: Ты сказал – собственноручно, но разве у Бога есть руки? Проблема в том, что мы до сих пор не избавились от пут гипостазирования.

Василий: Это что ещё?

Григорий: Это когда человек наделяет нечто нечеловеческое человеческими признаками. Очеловечивает. «Доброе государство», «Седобородый Бог». Даже давать имена животным отсюда.

Михаил: Хорошо. И что в остатке? Апофатическое богословие против катафатического?

Василий: Хорош умничать! Будем ли мы утверждать, чем

Бог является, или будем ли отмечать то, чем он не является, к разгадке девочки-собаки это нас не приблизит.

Михаил: Если мы не можем знать, любит ли она людей и Бога, то, в сущности, мы ни про кого не можем этого знать. Стало быть, каждый человек живёт с Богом наедине, и то, что происходит в христианских общинах, я имею в виду осуждения, анафемы и гнёт коллективной реальности, явления не только противные, но и бесполезные.

Григорий: Я знал это и без девочки. Вопрос в другом. Если человеку, чтобы стать человеком, нужно общество людей и, я бы сказал, соответствующий контекст, иными словами, для раздувания Божьей искры необходим ряд обязательных условий, то не говорит ли это о зыбкости Бога, зыбкости его изначального присутствия в человеке? Например, будь эта девочка крещена в младенчестве, а потом попала в стаю собак, мы могли бы называть её христианкой? И ещё. Сейчас нам кажется, что мы живём более-менее праведно, но если взглянуть на наши жизни из будущего, забежав лет на двести вперёд, не предстанем ли мы перед потомками кучкой варваров, пожирающих мясо? Мы ведь сейчас примерно так и смотрим на христиан времён Достоевского, помните, где православный перекрестился и тут же зарезал спящего человека ради часов.

Василий: Вот вы оба всегда так! Какой смысл рассусоливать за наших потомков? На двести лет никто из нас не забежит, и слава Богу! Есть две заповеди Христа, есть десятка

от Моисея – живи, старайся соблюдать и не парься.

Михаил: А как стараться правильно, ты знаешь? Сидеть, например, в монастыре или идти по миру, благовествуя Слово Божье? Или завести семью? Или не заводить? Если мы стараемся сделать молоток, бегая каждое утро по лесу, то что тогда?

Василий: Не понял.

Михаил: Ну, представь: бежим мы по лесу, вдруг останавливает нас странник и спрашивает: «Вы чего делаете?» А мы отвечаем – молоток. А он говорит – молоток совсем не так делают, сначала надо найти липу для рукоятки. Понимаешь?

Василий: Не можем мы жить настолько мимо! У нас Библия есть, навигатор почти, карта.

Григорий: И пришло время нашей ежедневной рубрики – вспоминаем отца Григория Чистякова, да упокоит Господь его душу.

Все трое перекрестились. Перекрестился и я.

Михаил: Да, в Библии много наслоений, но...

Григорий: Как тебе такое. Христос говорит: «Не гневайся на брата своего». А в VIII веке, в угоду константинопольскому императору, переписчики добавляют в этот стих слово «понапрасну». То есть за дело гневаться можно, осталось на своё усмотрение определить границы дела.

Михаил: Ты не дал мне договорить. Наслоения есть, никто не спорит, однако мы живём верою и надеждой, уповая на слово Божие, что светит нам и сквозь налёт времени.

Василий: Опытный путь, вы постоянно забываете об опытном пути...

Григорий: Пути.

Василий: Не важно. Если Библия работает, а она работает, значит, её не смогли испортить двадцать веков переписок. Это только укрепляет мою веру, вот в чём штука.

Григорий: Хорошо, примени свой опытный путь к девочке-собаке. Мне понятно, что Господь подбросил нам эту газету, чтобы, во-первых, мы навсегда оставили суд. Эта газета, как бы странно это ни звучало, льёт воду на мельницу апостола Павла...

Михаил: Да-да, Первое послание к Коринфянам: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь».

Василий: Молодец, пять. А что во-вторых?

Григорий: Во-вторых, как такое возможно, что эта девочка неисцелима? Получается, она лишена выбора, какого бы то ни было выбора. И этот чудовищный аргумент – аргумент в пользу арминианства.

Михаил: Каким образом?

Григорий: Если Бог приуготовил ей такую судьбу ещё до рождения, то это не Бог – это диавол. Поэтому Царствие Божие не от мира сего, в сём мире правит сатана. Бог проявляется в Царстве Кесаря лишь вспышками, действуя через

людей, добровольно принявших Его или умеющих слушать свою совесть. «Язычники же, не знающие Христа, но живущие по совести, по ней и осудятся».

Михаил: Ты понимаешь, что судишь Бога по своим представлениям о нравственном и безнравственном?

Василий: Гордец. Откуда ты знаешь, какая судьба ждала эту девочку? Сейчас она блаженна и юродива, это лучше, чем быть изнасилованной и убитой.

Григорий: Из разговоров с вами я заметил две вещи. Ваша вера в диавола столь велика, что один из вас готов уверовать во всемогущего Бога, только бы поколебать свои страхи. А второй приписывает человеку вечную роль страдальца в Царстве Кесаря, который ищет Божьего утешения и сам способен лишь на пассивную любовь, хотя человек – высшее Божье творение, способное не только терпеть зло, но и сражаться с ним. Вспомните Первое послание к Коринфянам: «Мы соратники у Бога». Его соратники. Христос – Бого-человек, нельзя помнить только о Боге и забывать о природе.

Василий: Бла-бла-бла. Дальше-то что?

Михаил: Да, что ты предлагаешь?

Григорий: Я предлагаю поехать в Архангельск и увидеть эту девочку.

Василий: Зачем?! Что это даст? Её и врачи смотрели, и кто только не смотрел. И на какие шиши ехать?

Михаил: Не нужно никуда ехать. Посмотрите на Костю.

Все трое посмотрели на меня. Дело в том, что накануне

своего приезда в монастырь я дал обет молчания и неслышания, отчего все полгода жил тут глухонемым, по вечерам молясь шёпотом в туалете, чтобы связи не отвыкли от голоса. Голос похож на еду. Когда долго постишься, от голода мир запретных запахов раскрывается, и ты чувствуешь то, чего раньше никогда не чуял. Когда в горле долго не было голоса, всякое слово обретает вкус, и вкус этот тем ярче, чем дольше его не было. Жить в молчании поначалу неловко, словно твою правую руку привязали к спине, но вскоре молчание принимает тебя, и ты будто бы плывёшь по тёплому морю. Ещё от долгого применения молчание проникает под кожу. Приучив к молчанию губы и горло, ты приучаешь к нему и душу. Вдруг она перестаёт болтать и слушать, а начинает как бы видеть. Это зрение раскрашивает мир доселе неведомыми красками, отказываться от которых в угоду болтовне просто жалко. Поэтому я и не отказывался. Я лелеял свою внутреннюю тишину, как мать нерождённого младенца.

Григорий: При чём тут Костя?

Михаил: Он глухонемой, однако пришёл к Богу.

Василий: Глухонемой – не собака.

Михаил: Да, не собака, но близко к ней.

Григорий: Ты его сейчас оскорбил.

Михаил: Вот! В том-то всё и дело. Оскорбил ли я его, если он не слышал оскорбления?

Василий: Получается, оскорбление не достигло адресата, никто не оскорбился, значит, оскорбления не было.

Михаил: Теперь экстраполируем эту логику на девочку-собаку. Она никогда не была человеком, стало быть, она не страдает от того, что она собака, как Костя не страдает от оскорбления, которое не способен услышать. А про Божью искру я сказать ничего не могу, как и никто не может, ибо никто не знает, вдруг она разгорится в ней завтра, или через год, или затеплилась уже. Что же касается арминианства или кальвинизма, то мы забыли о проклятье до четвёртого колена, когда люди сами обрекают своих потомков на горести, а Бог и диавол лишь сертифицируют это решение. Вдруг девочка несёт на себе печать родового проклятия, что тогда?

Григорий: Я не согласен с самого начала. Даже не услышанное оскорбление остается оскорблением, потому что мы ходим не перед людьми, а перед Богом. Грех тут в личной чёрствости, из которой произрастает оскорбление. Ты согрешил против любви. Я бы на твоём месте попросил у Кости прощения.

Михаил: Ты настаиваешь на путешествии в Архангельск?

Григорий: Я бы поехал.

Василий: Не знаю. Денег нет. Да и далеко.

Михаил: Про хождение перед Богом я согласен.

Михаил присел возле меня на корточки.

Михаил: Костя, прости меня.

Я откашлялся и сказал:

– Прощаю. Едем в Архангельск?

Михаил упал на пятую точку. Григорий вскрикнул. Васи-

лий окаменел. Его я так и не сумел убедить в том, что мой прорезавшийся голос – не Божье чудо, а прерванный обет молчания.

На следующий день мы вчетвером отправились в Архангельск. Путешествие заняло у нас почти месяц. В основном мы шли пешком, изредка проезжая автостопом. Четверо мужчин в черных рясах, бредущих с палками по обочине, мало привлекали водителей. Только один дальнобойщик вёз нас довольно долго. В дороге все мы взяли обет десяти слов в сутки, чтобы осознать их ценность и научиться видеть душой. К концу путешествия нас уже не сильно волновала его цель. Мы поняли, что молча доверять Богу в тех случаях, когда, с точки зрения мира, исправить ничего нельзя и при этом делать то, что желаешь духом, пусть это и кажется людям безумием, – и есть вера, а вычерпывание языком своих экзистенциальных глубин в равнодушный космос – и есть неверие.

В Архангельске мы разузнали, что девочку-собаку поместили в психиатрическую больницу. После недолгих уговоров главврач впустил нас к ней. Она была не агрессивной и ластилась, как лабрадор-щенок. Мы помолились за неё и накормили конфетами, потому что она уже их ела. По-моему, я разглядел человеческие искорки в ее глазах. Назад мы ушли втроем. Василий остался в архангельском монастыре, чтобы навещать девочку-собаку по выходным. Девочку зовут Настей. Она как-то сразу привязалась к Василию и даже

не хотела его отпускать. Василий мечтает когда-нибудь удочерить её, «потому что ей нужна нежность». Григорий говорит, что любовь – это и есть нежность. Не знаю. Михаил и Григорий вернулись в монастырь, а я пошёл домой, чтобы пожить иначе.

Игра в куклы

Виктор Амазник, человек чёрствой души и беспредельного духа, уважал в жизни три вещи: по лесу с утра километров десять пробежать, распорядок дня и море. Распорядок у Виктора был жёсткий: в семь – подъём, пробежка, в девять – завтрак. Потом чтение книг, в основном, документально-исторических, турник, обед, сон послеобеденный. В четверг вечером Оля-Света-Марина из клуба, перетрах спортивный, изгнание, здоровый сон. Работал Виктор в элитном стрип-клубе начальником охраны по ночам пятниц и суббот. Получал по пермским меркам неплохо – пятьдесят тысяч рублей. Плюс – ни ребёнка, ни котёнка, квартира от бабки досталась, да и сам он был прижимист и стоек.

Жениться Виктор не хотел, почитал это глупостью и одиночество своё ценил и оберегал. Он вообще был педантичен до крайности. Как-то Виктор жил с одной девушкой, но долго не выдержал, она волосы в сливном отверстии ванной противными прядями оставляла и кружку не на подставку, а прямо на стол ставила. Каждое лето Виктор летал на море и плавал в нём как умалишённый, волнуя спасателей. Этим летом тоже рванул. Лето в Перми выдалось осенним, безликим. Виктор всего два раза Каму переплыл к августу, хотя обычно раз восемь успевал. Высокий, под метр девяносто, жилистый, но при этом ловкий, этакий чёрт в ступе, Виктор

откровенно любил только себя. Но после тридцати пяти в его броне появилась брешь.

Стала ему сниться девочка Женя из детства, играл он с ней в песочнице шестилеткой, любил вроде бы, только помнил про это мало, разве только то, что русой она была, белокожей и в гольфиках синих. Сны эти эротического зерна в себе не имели, но грудь после них ломило и хотелось вещей абсурдных – нежности, чтобы душу кому нараспашку, и уюта. Родители Виктора погибли в аварии пятнадцать лет назад. С тех пор он и взял себя в ежовые рукавицы и в рукавицах этих ему понравилось. Виктор находил в себе слабости (а иногда их придумывал) и с методичностью автомата искоренял. Тут же его стали обуревать фантазии, налетавшие, как правило, перед сном. Представлялась Виктору альтернативная реальность, в которой он никуда не переехал, а пошёл вместе с Женей в школу, потом – в институт, любовь между ними случилась, свадьба, дети, дом из брёвен, собака добрая, может, хаски, а может, ретривер золотистый. И осень почему-то: тихая, бабья, листья под ногами шуршат, а он сына на качелях самодельных качает или на «лапах» боксу учит.

Мало-помалу Виктор стал эту альтернативную реальность прорабатывать. Не специально даже, а потому что мысли юркие, сложно за ними уследить. Сначала он в интернет залез – про хаски и ретриверов прочитал. Ретривер умнее показался и для детей пригоднее. Потом про дома узнал. Из брёвен,

из бруса, из пеноблоков? Далеко от Перми или в черте? Чтобы речка рядом или не обязательно? Дальше – больше. Сучку брать или кобеля? Детей сколько будет: один, двое, трое? Пусть двое – мальчик и девочка. Как назвать? Тут Виктора понесло, и он полез в книгу про имена. После долгих размышлений Виктор решил отдать Владика на плавание. И для здоровья полезно, и фигуре способствует, да ещё и бассейн неподалёку от дома построили, очень удобно.

Вскоре Виктор всполошился – денег-то хватит на такое счастье? Получалось – нет. Но если на карьеру поднажать, может и хватить. Мысли о нехватке денег отразились на реальности. Виктор стал отчаянно экономить и поэтому решил ехать на российское море и поездом, хотя обычно летал в Турцию, где море поинтереснее. Перед отъездом с ним произошёл странный случай. Он покупал большие беспроводные наушники, но вдруг заглянул в детский отдел и сходу взял куклу. Куклу эту, протрезвев, Виктор признал экивоком разума, но выбрасывать было жалко, и он решил захватить её с собой на юг, чтобы подарить какому-нибудь ребёнку.

Упаковав куклу в чемодан, Виктор лёг спать и тотчас погрузился в воспоминания. Армия напозла, траву на могилках надо вырвать. А потом снова Женя, дети, дом, собака... Неожиданно Виктор заплакал. Не так заплакал, когда готовишься и лицо заранее куксишь, а так, словно глаза отдельной жизнью зажили и погнажи слезу. В потоках слёз на рав-

нодушном лице он и уснул.

Ранним утром Виктор сел в поезд Новосибирск – Адлер. Место у него было хорошее – нижняя полка в купе с кондиционером. Вместе с ним ехали двое стариков: дедок спал наверху, бабушка – внизу. По купе разносился феноменальный храп. Бабушка храпела тенорком и как-то нервно; дед, словно тромбон, басил размеренно, создавая фон. Виктор сунул чемодан под полку и лёг не раздеваясь. Потом сел, достал наушники, нашёл в телефоне *U2*, включил на полную громкость и перебил гитарами храп. Вскоре обозначилась проблема – спать на боку в наушниках не получалось, а на спине Виктор заснуть не мог. Вздохнув, снял наушники и лёг на правый бок, прикрыв левое ухо подушкой. Вдруг дед всхрапнул особенно громко. Бабушка проснулась, привстала и ткнула деда:

– Гена, чего расхрапелся? Спать невозможно!

Дед пошлёпал губами и затих. Бабка-то храпит сильнее деда и ещё смеет ему предъявлять? Это показалось Виктору несправедливым. Через пять минут старики вновь дружно захрапели. Тут Виктора осенило: он включил диктофон, чтобы записать храп стариков, а утром их пристыдить и указать бабушке на двойные стандарты. Они оба его раздражали, но бабушка больше из-за тенорка и нападков на деда. За сочинением обличительной речи под стук колёс Виктор, наконец, уснул.

Разбудил его запах домашних пирогов с мясом и чего-то

кислого, как выяснилось – уксуса. Дедок в майке сидел за столиком и наворачивал пироги, обмакивая их в мисочку и запивая чаем из стакана в подстаканнике. Несмотря на свой преклонный возраст, дедок был жилистым, широким в кости и с большими основательными руками. На плече едва различимо проступала синяя татуировка: якорь и тигриная морда. Морпех или с «коробки». Виктор поздоровался. Дедок кивнул и протянул руку, поглядывая на него с любопытством. Виктор пожал твёрдую ладонь, оценил силу рукопожатия. Дедок представился:

– Геннадий.

– Виктор.

Виктор не любил игру «кто кого передавит», хотя, скорее всего, смог бы передавить большинство ладоней в России.

Бабушки в купе не было. Наверно, ушла в туалет. В поезде можно уйти в три места: в туалет, за кипятком или в вагон-ресторан, но на завсегдатаев последнего пожилая пара не походила.

Решив воспользоваться моментом, Виктор положил на стол телефон и включил запись ночных храпов.

Геннадий: Это что?

Виктор: Это вы и ваша жена. Знаете, почему я это записал?

Геннадий: И почему?

Виктор: Потому что я не мог заснуть. Помните, как ваша жена разбудила вас, чтоб вы не храпели?

Геннадий: Смутно. Выключите, Люда скоро вернётся.

Виктор выключил.

Геннадий: Ей только не включайте.

Виктор: Почему?

Геннадий: Она не знает.

Виктор: Чего не знает?

Геннадий: Не знает, что храпит. Десять лет храпит и не знает.

Виктор обалдел.

Виктор: Почему вы ей не сказали?

Геннадий: А смысл? Расстроится только, а храпеть не перестанет. От веса это, от возраста. Вы бы тоже могли промолчать.

Виктор: Не мог. Я хотел, чтобы вы знали, какие неудобства причиняете окружающим.

Геннадий: Теперь я знаю, и мне совестно. Вы довольны?

Виктор: Нет. Десять лет молчать... В голове не укладывается.

Геннадий: Мы с ней в садике познакомились. В школу вместе пошли, потом в институт. В два-дцать лет поженились, двоих детей родили. Знаете, сколько у нас внуков?

Виктор: Сколько?

Геннадий: Семь.

Виктор: И что?

Геннадий неожиданно перешёл на «ты».

Геннадий: Не понимаешь? Люблю я ее.

От такой штыковой искренности Виктору стало неловко. В купе вошла Люда. Невысокая, полненькая, со скорбной носогубной складкой, она носила всё ещё красивое лицо с гладким лбом и смеющимися глазами.

Геннадий: Познакомься, Люда, это Виктор.

Люда: Здравствуйте, Виктор.

Виктор поздоровался и пригляделся к своим попутчикам. Если б какая угодно женщина вздумала храпеть в его кровати, он бы отправил ее домой или в крайнем случае положил спать в соседней комнате. А если б храпела Женя? Если б она оставляла волосы в ванной? Если б не ставила кружку на подставку? Эти вопросы, заданные вроде бы самому себе самим собой, застали Виктора врасплох. Он задумался. Из собственных мыслей его вырвал Геннадий.

Геннадий: А мы с Виктором про внуков говорили, пока ты плескалась.

Люда: Фотографии показывал?

Геннадий: Виктор, хочешь посмотреть фотографии?

Виктор не хотел, но по инерции кивнул, так располагала к себе теплота в голосе Геннадия. У стариков оказались современные сенсорные телефоны. Замелькали снимки, зазвучали комментарии. «Это в Геленджике. Фонтан какой! А это... Слово забыла. Тунис. Точно! Сахара там, они на мотоциклах катались. На квадроциклах. Ой, Гена, всё-то ты знаешь! Это со свадьбы, Коленька наш. Нефтяником сейчас работает. Мастер на буровой. А это Леночка. За Борьку вышла, в

деревне сидят. А что, в деревне не жизнь, что ли? Почему не жизнь – жизнь. А тут, посмотри, Прага. Страшилицы. Как их, Гена? Горгульи. А это мостик кованный. Лебеди плавают».

От потока ненужной информации Виктор оцепенел и невидящим взглядом уставился в стенку купе. Старики этого не заметили, им было плевать, смотрит он или нет, они будто бы показывали фотографии себе, как сам Виктор не единожды пересматривал «Властелина колец», нежась и волнуясь в восхитительной предсказуемости шикарного фильма. Неожиданно его пронзила мысль: своего фильма не снял, вот и смотрю чужие. Ему вдруг захотелось раскрыть телефон и тоже угостить стариков снимками своей нормальной жизни, только их не было, как, впрочем, и жизни.

Геннадий: А у тебя как?

Виктор слегка вздрогнул.

Виктор: Что – как?

Люда: Нельзя же так в лоб, Гена. Он хотел спросить вас о детях.

Геннадий: Чего нельзя-то? Мужик статный, справный. Поди троих уж настругал?

Виктор: Двоих.

Сказав «двоих», Виктор и сам внутренне раздвоился. Один голос заорал – каких, на хрен, двоих, что ты несёшь? Второй изрекал нежно и вкрадчиво – про дом ещё расскажи и про собаку не забудь. И Виктор действительно рассказал. Поначалу он говорил неуверенно, совестясь, а потом прова-

лился в фантазию, как путник, идущий сугробами, продавливает наст, а вскоре уже бежит по ним во всю прыть, отчаянно утопая по пояс.

Виктор мучил себя, а чем мучил – он и сам не понимал. Посреди купе вдруг раскинулся сад, где и облепиха, и яблоны, и спелая ирга. Возник бревенчатый дом, баня на пригорке, толстый лабрадор Стивен высунул язык от жары, и Владик играет мячом, и Маша, ей сейчас пять годиков, делает в песочнице кулича. А рядом Виктор, голый по пояс, копает компостную яму. И Женя, загорелая, в домашнем халате, похожем на платъице, поливает из большой лейки клумбу, где растут разные цветы, названий которых он не знает. Но они красивы, как красиво всё вокруг, но не так, как в Эрмитаже или в горах, где кружится голова и глазам тесно; не предписано красиво, а красиво потому, что это всё твоё, это ты такой, какой есть. Наверно, из-за этой красоты старики и слушали Виктора заморожённо, лишь изредка перебивая.

Геннадий: ... Фотографии-то покажи.

Виктор: Телефон новый купил, не успел перекинуть.

Люда: Да на что тебе фотографии, я и так всё вижу!

Геннадий: Так и я вижу. Сравнить интересно.

Тут Виктор провалился в сугроб по горло.

Виктор: Увидите ещё. Жена с дочкой встречать меня будут.

Геннадий: Святое дело – мужа встречать.

Люда улыбнулась. А Виктор бросился к чемодану, выта-

шил куклу, показал старикам.

Виктор: Вот, Машеньке купил! День рождения у неё.

Старики повертели куклу в руках, полюбовались и похвалили её. Виктор вернул куклу в чемодан.

Люда: Как хорошо вы про счастье говорите, приятно вас послушать.

Геннадий: Я же говорил – есть молодёжь! А ты – «страдают все, страдают». А видишь, как оно.

Люда: Оба мы видим.

Геннадий: Оба, да. Чайку надо, чайку.

Геннадий ушёл за кипятком. Люда кивнула Виктору и раскрыла сканворд. Виктор пребывал в невесомости. Он вынырнул из фантазий и остался один на один с безобразной правдой – на перроне его назовут придурком и лжецом. Да и сам он так проникнулся своим враньём, что вдруг почувствовал себя обманутым и грязным. Кем обманутым, почему грязным? В боксе состояние Виктора называют «гrogги» – это когда ты пропустил удар, которого не видел, который как бы из ниоткуда прилетел, ослепил, оглушил, кости из тела выдернул, а в глазах мухи, как от давления, если резко встать, и пол стремится к лицу, и никак не устоять.

Виктор растерянно искал выход из положения и нашёл два: постараться выскочить из поезда быстрее стариков и спастись бегством или сойти, не доезжая до Адлера, ночью, а к морю добраться на такси. За выбором нужного выхода, просмотром фильмов, сном и новым враньём про свою се-

мью, которое он вынужден был множить, чтобы не саморазоблачиться, Виктор провёл остаток путешествия. А на последнем перегоне, за два часа буквально, ему вдруг противно стало выкручиваться. В каком-то смысле Виктор даже захотел огрести по полной, захотел испить чашу возмездия за своё невозможное враньё, потому что... Он и сам не знал. Но если его не разоблачат, нет, если он сам себя не разоблачит, то и сладкий миф из него никуда не денется, а жить с ним Виктор не мог.

Наконец, поезд прибыл в Адлер. За полчаса по вагону прошёл проводник и велел сдавать бельё. Старики аккуратно сложили простынки-наволочки и ушли. Виктор готовил речь. «Простите, меня, я вам соврал. У меня нет семьи. Я – одинокий человек. Нет, я в порядке, просто... Я не знаю, почему всё это вам наговорил. Мне стыдно».

В купе вернулись старики. Поезд сбавил скорость – медленнее, медленнее, медленнее – и остановился. Виктор взял чемодан и вышел в коридор. Следом – Геннадий и Люда. Воздух плыл от жары.

Перрон. Виктор немного отошёл от вагона и повернулся к старикам. Вдруг сбоку налетели, повисли на шее, поцеловали в щёку, Виктор ошарашенно уставился на смутно знакомую женщину. Кто-то обнял его за талию. Виктор посмотрел вниз. Это был мальчик.

Мальчик: Папа, как хорошо, что ты наконец приехал!

Женщина: Витенька! Как же мы соскучились!

Подошли Геннадий и Люда.

Люда: Здравствуйте! Вы, наверное, Женя? Виктор нам много о вас рассказывал.

Женя: Надеюсь, только хорошее?

Женя весело посмотрела на мужа. Он смотрел строго перед собой затуманенными совиными глазами.

Виктор: Это Геннадий и Людмила.

Женя: Приятно познакомиться.

Мальчик: Здравствуйте.

Геннадий наклонился к мальчику.

Геннадий: А тебя как зовут?

Мальчик: Владислав.

Взрослые рассмеялись этой серьёзности.

Геннадий: Владислав! Держи конфетку.

Геннадий угостил Владика растаявшей «Маской». Тот взял её и потянула отца за руку.

Владик: Папа, пойдём уже на море!

Женя деликатно улыбнулась.

Женя: Нам действительно пора. Такси ждёт.

Люда: Хорошего вам отдыха.

Женя: Непременно.

Владик повис на отцовской руке. Женя отобрала у мужа чемодан и покатила. Втроём они пошли по залитому солнцем перрону. Старики провожали их взглядами.

Геннадий: Ох!

Люда: Что такое?

Геннадий: Кукла! Его же дочка должна была встречать, а я сына сделал.

Усыпить Банди

Я, может, из дома вышел ради булочки и смысла жизни, а больше, может, не из-за чего. А может, я вышел, чтобы найти мужика и с ним поговорить. О собаке, футболе, собирательном образе женщины, обозначенном ёмким словом «сука», или о водке, или о бане, где уши трубочкой и на пол охота лечь, но ты не ложишься из чести. Это раньше честь была в доспехах и с мечом, а сейчас она, может, с веником и голая.

Я с четырьмя бабами живу. Не с бабами, конечно, это я так, не знаю даже как, а с четырьмя женщинами: женой, мамой, сестрой и бабушкой. Дед у меня умер, а отец ушёл к другой женщине, он, видимо, улавливает разницу между ними. Десять лет назад все разбежались, и я один остался. Это как у Довлатова: «Лежу тут один, с женой...» Я тоже один с женой лежу, а в соседней комнате мама, а дальше бабушка и ещё сестра. Мама у меня вяжет, жена программирует, бабушка пенсию получает, а сестра пишет сценарии и страдает депрессией. Кроме них, со мной живут кот Стивен и кошка Анфиса, пес Банди, крыски Шэрон и Лайла, а больше никого, но мне достаточно. Мама десять лет всякие вещи вяжет и на меня меряет, я шапки её ношу, разноцветные такие, из меринуса, это шерсть овечья, мама говорит – очень модно, а пацаны на улице говорят – пидор. Жена мне всякие новости компьютерные рассказывает, Валентин там какой-то или

Михаил, я до конца пока не понял. Сестра читает мне сценарии. Как тебе, спрашивает, тут? Так ведь лучше? Я отвечаю – конечно, лучше. А она говорит – и вовсе не лучше, вот так точнее. Точнее, говорю, это само собой. А она – ничего ты не понимаешь. А я – не понимаю, ясен день. Но она всё равно читает, а я дальше не понимаю. Десять лет уже не понимаю. Зато бабушка молчит. Молчать-то она молчит, но телевизор смотрит регулярно. С 9:00 до 22:00. А ночью она спит, поэтому футбол я по телефону в ванне смотрю, но в ванну маме, сестре и жене надо, они ме-ня выгоняют, и я футбол на стуле смотрю, на кухне, а стул жёсткий, и я иду в кровать, чтоб смотреть футбол в наушниках, от которых у меня уши потеют и болят. Я сам нигде не работаю, я пишу книги и я инвалид, потому что у меня ярко выраженное биполярное расстройство. Я каждый день лекарства пью и молюсь Иисусу, чтобы мания не пришла, ведь если она придёт, я не смогу быть «одним мужчиной в семье», и все мои женщины умрут от жизни.

Был глубокий апрель, берёзы наливались русью, чирикали воробьи, круговорот красок в природе шёл своим чередом, ничто не предвещало драмы, когда нашу семью накрыл нравственный вопрос – усыплять собаку или нет? Пес Банди везде писал, в том числе в обувь, плохо видел, еле вспрыгивал на диван и кашлял слизью, потому что прожил шестнадцать лет, что для тойтерьера, видимо, больше и не надо, однако он ещё радовался жизни, любил поглаживания, по-

есть и вилял хвостом. Первая часть этого длинного предложения – аргументы моей жены в пользу усыпления. Не подумайте, что она бесчувственная стерва, просто ей нравятся чистые полы, и она убедила себя в том, что пёс мучается. Этого же мнения придерживалась бабушка. Мама говорит, что они обе овны по гороскопу, а овны любят чистые полы, вот они и сговорились. Мама – рыба, а сестра – гладиолус, она так говорит, потому что не верит в гороскопы, Иисуса и социальную справедливость, зато верит в феминизм, что бы это ни значило. Мама и сестра ратуют за вторую часть длинного предложения, которое вы уже забыли, но я напомним. Раз пёс любит еду, поглаживания и виляет хвостом, значит, он ещё радуется жизни, а раз он радуется жизни, значит, усыплять его не милость, а убийство. Мысль о том, что пёс не особо страдает и не особо радуется жизни, а просто живет заведённым порядком, никому из моих женщин в голову не приходила. Они любят крайности, любят, чтобы кто-то страдал или кто-то радовался, потому что, наверное, боятся понять про себя в глубине души, что сами они живут вполне среднестатистически, без страданий и радостей, обычно. А если они такое признают про пса, они и про себя могут признать, отчего их характеры поведут их к переменам, которых все люди боятся, и им придётся сразиться с этим страхом и, возможно, целиком ему проиграть. Я иногда думаю, что все мы живём в зоопарке, но не в таком, как в Перми, где звери сидят в карцерах, а в таком, как в Геленджике, где много ме-

ста и медведи, например, живут на одной территории с волками. Я наблюдал за их жизнью и заметил, что волки очень хорошо чувствуют ту невидимую черту, за которой им может грозить опасность от медведей, и хотя никакого забора нет, волки этот рубеж не пересекают, а приближаясь к нему, становятся осторожными и тихими, наостряют уши и нюхают воздух. Так и люди. Приближаясь к невидимой черте, за которой их ждут большие перемены, они инстинктивно её чувствуют, боятся и не пересекают, потому что перемены – это неизвестность, а хуже неизвестности ничего нет, даже плохая известность лучше неё, такие уж мы консерваторы. Все мои женщины – сплошь консерваторы. Почти все женщины такие, потому что если слишком часто переносить и перестраивать домашний очаг, то от него может ничего и не остаться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.